

- [Честертон Гилберт Кийт](#)
  -

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Честертон Гилберт Кийт

## Преступление Габриела Гейла

Гилберт Кийт Честертон  
Преступление Габриела Гейла

Доктор Баттерворт, знаменитый лондонский врач, сидел без пиджака, отдыхая после тенниса, потому что играл в жару на залитой солнцем лужайке. Плотный, приветливый с виду, он повсюду вносил дух бодрости и здоровья, что внушало доверие пациентам, но не слишком занимало его самого, ибо он был не из тех, кто ставит заботу о собственном здоровье превыше всего. Он играл в мяч, когда хотел, и бросал игру, когда хотел, - например, сейчас он бросил ее и ушел в тень покурить. Игра развлекала его, как хорошая шутка. Для многих это значило, что он никогда не станет теннисистом, для него же - что он никогда не перестанет играть. Шутки он очень любил и замечал их там, где другой не заметит; так и теперь он заметил смешное, как шутка, сочетание красок. В темной рамке дверей, как в рамке сцены, сверкала золотом дорожка, по бокам ее рдели и пылали веселые тюльпаны, и четкостью своей, и яркостью подобные орнаменту персидской миниатюры, а посередине шел совершенно черный человек. И шляпа его, и костюм, и зонтик были черными, словно сам Черный Тюльпан ожил и двинулся в путь. Однако минуты через две все стало на свои места: доктор узнал лицо под черными полями и, присмотревшись, понял, что шуткой тут и не пахнет.

- Здравствуйте, Гарт, - приветливо сказал он. - Что это с вами? Вы как на похороны собрались!

- Я и собрался, - отвечал доктор Гарт, кладя на стул черную шляпу. Он был невелик ростом, рыжеволос, а умное его лицо осунулось и поблекло.

- Простите, - быстро сказал Баттерворт, - я не подумал...

- Это похороны особые, - мрачно пояснил Гарт. - В таких случаях мы, врачи, делаем все, чтобы закопать пациента живым.

- Что вы такое говорите? - ужаснулся его коллега.

- А чтобы закопать его живым, - с жутким спокойствием продолжал Гарт, - нужны два врача.

Баттерворт беззвучно присвистнул, глядя на сверкающую дорожку.

- Ах вон оно что! - проговорил он и отрывисто прибавил: - Да, дело неприятное. Но вам как будто особенно тяжко. Что, близкий друг?

- Лучший мой друг, кроме вас, - отвечал Гарт. - Лучший из нынешних молодых. Я давно этого боялся, но не думал, что это проявится в такой острой форме.

Он помолчал и быстро выговорил:

- Это Гейл. Он перестарался.

- В каком смысле? - спросил Баттерворт.

- Трудно объяснить, если вы с ним не знакомы, - сказал Гарт. - Он пишет стихи и картины, и много странного делает, но главное - он решил, что может лечить сумасшедших. Лечил, лечил и сам свихнулся. Беда ужасная, но кто его просил их лечить?

- Я все-таки не пойму, - терпеливо сказал Баттерворт.

- Он считал, - ответил Гарт, - что у него свой метод: сочувствие. Нет, не в житейском смысле слова! Он думал и чувствовал с ними вместе, шел с ними, так сказать, докуда мог. Я дразнил его, беднягу: если больной думает, что он стеклянный, Гейл постарается стать прозрачнее. Он действительно верил, что умеет смотреть на мир глазами безумца и говорить с ним на его языке. Я его методу не доверял.

- Еще бы! - откликнулся Баттерворт. - Что ж, если пациент хромает, и врачу хромать прикажете? Если пациент ослеп, и врачу слепнуть?

- Слепой ведет слепого... - мрачно процитировал Гарт. Вот Гейл и упал в яму.

- Что же с ним случилось? - спросил Баттерворт.

- Если он не попадет в больницу, - сказал Гарт, - он попадет в тюрьму. Потому я и приехал за вами так спешно. Видит бог, не люблю я этой процедуры. Гейл всегда был чудаковат, но ум у него был крепкий, здоровый. А теперь он такого натворил, что я в его болезни не сомневаюсь. Он набросился на человека и чуть не убил его вилами. Но я его знаю, и меня особенно поражает, что он напал на совершенно безобидную тварь, на истинную овцу. Это неуклюжий студент-богослов из Кембриджа. В здравом уме Габриел никогда бы такого не сделал. Он схватывался - и то словесно, не в драке - с людьми категоричными, важными, властными, как этот брезгливый доктор Уилкс или тот русский профессор. Он не мог обидеть нелепого Сондерса, как не мог ударить ребенка. А он его обидел на моих глазах. Значит он был не в себе.

И еще одно убедило меня в том, что он заболел. Погода была тяжкая, стояла жара, надвигалась гроза, но раньше на него такие вещи не действовали. Каких он только глупостей не делал! Мне говорили, он стоял в саду на голове, но это он хотел показать, что грозы не боится. А тут он был очень возбужден, даже разговор о грозе его возбуждал. Собственно,

все ужасы и начались с простого разговора о погоде.

Как-то мы были у леди Флэмборо в саду. Накрапывал дождь, и хозяйка сказала одному из гостей: "Вы принесли плохую погоду". Слова эти самые банальные, но тут она сказала их Герберту Сондерсу, а он очень робкий, неуклюжий - знаете, такой долговязый юнец с большими ногами. Сондерс страшно смутился и что-то хмыкнул, но Гейла эта фраза взвинтила. Потом он встретил леди Флэмборо в гостях. Снова шел дождь, и Гейл показал на долговязого Сондерса и шепнул, словно заговорщик: "Это все он". И вот наконец, его сразило простое совпадение - они ведь бывают, но на сумасшедших слишком сильно действуют. В следующий раз мы с ним были у миссис Блэгни. Погода стояла прекрасная, и хозяин показывал нам свой сад и теплицы. Потом мы пошли пить чай в большую синевато-зеленую комнату, и тут явился запоздавший Сондерс. Когда он усаживался за стол, все подшучивали над ним, говорили о погоде и радовались, что примета не сработала. Мы встали и разбрелись по комнатам. Гейл направился к выходу в сад, но вдруг застыл на месте, указывая куда-то. Этот жест испугал меня, но когда я взглянул, я был поражен не меньше: окна, еще недавно ярко-голубые, были черными от дождя. Десять минут назад сад сиял, как сад Гесперид, а сейчас ливень лил так, словно начался в прошлом столетии. Гейл постоял, поглядел, обернулся и взглядом, которого мне не забыть, пронзил Герберта Сондерса.

Сами понимаете, я не верю в колдовство или в ведьм, призывающих бурю, но здесь и впрямь выходило забавно. Конечно, это простое совпадение, но я боялся, что оно повлияет на психику моего бедного друга. Они с Сондерсом стояли и смотрели в одно и то же окно на залитый ливнем сад и мечущиеся ветви. Простодушное лицо студента выражало лишь незлобивое удивление, он даже смущенно улыбался, как будто его похвалили. Он ведь из тех, кого похвала смущает больше, чем обида. Конечно, он видел только смешную сторону дела и думал, что наш климат снова подшучивает над ним. Лицо же Гейла было ужасно. Когда белый свет молнии разорвал тьму, я увидел, что оно искажено гримасой торжества; загредел гром, мгновенно стемнело, но я знал, что Гейл непонятно и зловеще ликует. И я услышал сквозь раскаты: "Ощущаешь себя Богом!"

Прямо под окном начиналась тропинка, бегущая к саду через луг, где недавно косили сено, и сейчас большая копна возвышалась темным холмом на фоне свинцовых небес, а большие вилы, воткнутые в нее, чернели довольно зловеще. Это, я думаю, тоже возбудило воображение Гейла, он вообще принимает странные зрелища как знамения. Тут прибежали хозяева. Старый Блэгни боялся, что сено погибнет, а жена его больше

тревожилась о каких-то особенных креслах, которые остались за лугом, под огромной яблоней, чьи ветви извивались и бились на ветру.

Когда Габриел Гейл здоров, он - рыцарь без страха и упрека. Но тут он не побежал за креслами, а устоял на бедного Сондерса. Тот растерялся вконец, как теряются застенчивые люди, которые боятся и поступить неправильно, и поступить правильно. Наконец он решился, кинулся вперед, с трудом распахнул дверь и выбежал под дождь. Гейл встал в дверях и что-то крикнул ему вслед. Никто ничего не разобрал, а если бы разобрал, не понял бы. Но я услышал и, боюсь, понял слишком хорошо. Гейл крикнул сквозь бурю: "Что ж вы их не кликнете? Сами прибегут". Несомненно, он имел в виду кресла.

Немного погодя он прибавил: "Можно и дерево позвать..." Конечно, Сондерс не ответил ему - то ли по нелепости своей, то ли из-за ливня он сбился с пути и бежал через луг не к дереву, а куда-то левее. Я и сейчас вижу, как темнеют на фоне неба его длинные ноги и неуклюжие локти. И тут случилось самое непонятное и страшное. На земле валялась веревка. Гейл выпрыгнул из двери, схватил ее и с какой-то дикой, дикарской быстротой завязал петлю. Веревка, словно лассо, мелькнула на светлом небе. Неуклюжий студент споткнулся и попятился. Гейл заарканил его.

Я хотел позвать на помощь и удивился, даже испугался, увидев, что никого нет. Хозяева и гости послали за креслами услужливого Сондерса и убежали закрывать окна, звать слуг или смотреть, не мокнет ли еще что-нибудь под ливнем. Я остался один на один с бессмысленною бедою. На моих глазах Гейл протащил Сондерса, словно мешок с картошкой, вдоль всего фасада, и оба они скрылись за углом. Но я совсем похолодел от страха, увидев, что, пробегая мимо копны, Гейл схватил вилы и взмахнул ими, как черт в аду. Я кинулся за ним, поскользнулся на мокрых камнях, ударил ногу и заковылял. Буря поглотила бедного безумца, и не скоро обнаружилось, чем кончились его безумства. Герберта Сондерса нашли у яблони. Он был жив и невредим, но прикручен к стволу веревкой и пригвожден вилами, вернее охвачен с двух сторон зубцами. Гейла не видели до тех пор, пока гроза не улеглась и не выглянуло солнце. Он медленно ходил по дальнему лугу и дул на одуванчики. Я редко видел его таким умиротворенным.

- А как ваш Сондерс? - не сразу спросил Баттерворт. Очень плох?

- Еще не совсем пришел в себя, - ответил Гарт. - Уехал домой отдохнуть. Он вполне здоров, но я боюсь, что возбудят дело, если мы с вами не вызволим Гейла. Он тут, ждет в машине.

- Прекрасно, - сказал знаменитый врач, резко встал и застегнул

пиджак. - Пойдем осмотрим его.

Беседа Гейла с докторами была так коротка и удивительна, что после нее у них сильно кружилась голова. Гейл не выказал и в малой степени легкомыслия и простодушия, которые, судя по одуванчикам, были теперь свойственны ему. Он слушал тихо и терпеливо, а улыбался так кротко, что говорившим казалось, будто он намного их старше, хотя на самом деле они были старше его. Когда же Гарт осторожно предположил, что ему ради собственного блага надо отдохнуть, он весело рассмеялся и пресек дальнейшие иносказания.

- Не волнуйтесь вы так! - воскликнул он. - Значит, по-вашему, мне самое место в сумасшедшем доме?

- Вы знаете, что я вам друг, - серьезно сказал Гарт, - и все ваши друзья согласятся со мною.

- Еще бы! - улыбнулся Гейл. - Что ж, спросим тогда врагов.

- Что это значит? - спросил Гарт. - Каких врагов?

- Ну врага, - покладисто сказал Гейл. - Того, кого я так обидел. Я большего и не прошу: не загоняйте меня в больницу, пока не спросите Сондерса.

Он нахмурился, что-то обдумывая, и прибавил:

- Пошлем ему сейчас телеграмму... скажем, такую: "Лассо любите?"... или "Как вам вилы?"... или...

- Можно и позвонить, - перебил его Гарт.

Поэт покачал головой.

- Нет. Таким, как он, писать гораздо легче. По телефону он слова не вымолвит. Даже того не скажет, чего вы ждете, просто промычит. А в кабинке на телеграфе он будет свободен, как у исповедадьни.

Врачи удивились, но телеграмму послали, очень обстоятельную. Сондерс был теперь дома у матери, и они спросили его, что он думает о странных поступках Габриела Гейла. Ответ пришел в тот же день, и гласил он следующее: "Бесконечно благодарен Гейлу доброту, спасение жизни".

Гарт и Баттерворт молча поглядели друг на друга, молча сели в машину и поехали туда, где гостил Гейл со своим подопечным, к мистеру и миссис Блэгни.

Они миновали холмы и спустились в большую долину, в которой стоял над рекой дом, принявший опасного поэта. Гарт помнил, а Баттерворт мог представить себе, как странно и смешно выглядела драма на такой неподходящей сцене. Дом был из тех, которые поражают взор старомодностью, но не стариной. Он был недостаточно стар, чтобы считаться красивым, но тем, кто помнит времена Виктории, напоминал об

этих временах. Высокие колонны были так бесцветны, сквозь высокие окна так слабо белели высокие потолки, гардины по сторонам окон, строго параллельные колоннам, висели такими ровными складками и пурпур их был таким унылым, что склонный к юмору Баттерворт еще издали твердо знал, какие тяжелые и ненужные кисти увидит он, войдя в комнаты. Трудно было совместить все это с безумием убийства. Еще труднее совместить с безумием милосердия. Чинный сад, ряды деревьев, темные аллеи, густой кустарник, наполовину скошенный луг, отданные в тот дикий вечер ликованию стихий, мирно лежали теперь в золотой летней тишине, а синие небеса были так высоки и спокойны, что гудение шмеля раздавалось вокруг звонко, как пение жаворонка.

Весь реквизит отвратительного фарса радостно сверкал. Гарт увидел пустые окна, залитые в тот вечер темными потоками ливня, увидел дерево, к которому была прикручена жертва, и черные дыры в стволе, похожие на глазницы, словно яблоня обратилась в карлика с высокими рогами. Копна была невредима, хотя и растрепана ветром, а за ней зеленой стеною стояла высокая трава. Из этих безопасных джунглей, из карликового леса, тянулась к небесам белая струйка, будто в самом низу горел крохотный костер из травинки. Нигде не было ни души, но Гарт понял, откуда идет дым, и крикнул: "Это вы, Габриел?"

Над высокой травой взметнулись длинные ноги, помахали новоприбывшим, исчезли, и Габриел Гейл вынырнул из трав, благодушно улыбаясь. Он курил длинную сигару, это и был огонь, без которого нет дыма. Новостям он не удивился и даже не обрадовался. Покинув травяное гнездо, он сел в кресло, тоже сыгравшее свою роль в таинственной драме, и, возвращая телеграмму Гарту, чуть-чуть улыбнулся.

- Ну как, - спросил он, - все еще считаете меня сумасшедшим?

- Я думаю, - ответил Баттерворт, - не сошел ли Сондерс с ума.

Тут Гейл впервые стал серьезным.

- Нет, - сказал он, - хотя и побывал рядом с безумием. Он медленно откинулся на спинку кресла и, отрешенно глядя на ромашку, как бы забыл о том, что он не один. Потом заговорил негромко и ровно, словно читал лекцию.

- Очень много молодых людей подходит к безумию вплотную. Подходят, но останавливаются, а потом исцеляются вполне. Собственно, мы вправе сказать, что нормально побывать ненормальным. Наступает это тогда, когда внутренний и внешний мир существуют отдельно, сами по себе. Долговязые, здоровые юнцы, которым вроде бы и дело есть только до крикета и школьного кафе, жить не могут от скрытого и страшного недуга.

У Сондерса это даже видно, он как будто вырос из брюк и пиджака. Внутренняя жизнь в такую пору неизмеримо больше внешней. Человек не знает, как сообразовать их, а чаще всего и не пытается. Его ум, его "я" кажутся ему огромными и всеобъемлющими, все прочее далеким и маленьким. Но есть и другое: мир огромен и страшен, а собственные мысли так хрупки, что их надо поглубже спрятать. Вы знаете сами, школьники часто молчат о мерзостях, которые творят с ними в школе. Говорят, что девушка не держит тайны; не берусь судить, верно ли это, но юноша себя погубит, лишь бы тайну сохранить.

В эту темную пору особенно опасен один час: тот, когда внутреннее и внешнее столкнутся, перекинется мост между миром и сознанием. И тут бывает по-разному. Это может углубить застенчивость, а может укрепить мальчишескую манию величия. Сондерса никто не замечал, пока леди Флэмборо не сказала, что он меняет погоду. Попало это на такой момент, что у него все сдвинулось. Я в первый раз подумал, что он... да, кстати, когда подумали вы, что я сумасшедший?

- Кажется, - медленно сказал Гарт, - когда вы глядели в окно на грозу.

- На грозу? А что, была гроза? - спросил Гейл. - Ах да, помню, была!..

- Господи! - вскричал Гарт. - На что же вы еще смотрели в окно?

- Я не смотрел в окно, - ответил Гейл. - Я смотрел на окно. Я часто на них смотрю.

- Ну, что это вы... - заволновался Гарт.

- Мало кто глядит на окна, - продолжал Гейл, - разве что на витражи. А ведь стекло красиво, как алмаз, и прозрачность - цвет запредельного. Но тут было и другое, очень страшное, гораздо страшнее молнии.

- Что же именно? - спросил Гарт.

- Две капли воды, - ответил Гейл. - Я увидел их, и еще я увидел, что на них смотрит Сондерс.

- Вы же знаете, - продолжал он все серьезней и более пылко, - я всегда смотрю на небольшие предметы - на птицу, на камень, на морскую звезду. Только они и помогают мне понять. Когда я увидел, куда глядит Сондерс, я содрогнулся - я все понял. Он глядел на стекло и странно, застенчиво улыбался.

Говорят, завязтые игроки ставят иногда на такие капли. Но игра тем и хороша, что не зависит от нашей воли. Если вам нравится шотландский терьер, а не ирландский, вы поймете, что не всесильны, когда ирландский победит. А эти прозрачные шарики равны, как чаши весов. Какая из них ни победи, вы можете подумать, что на нее и ставили. Более того, вам покажется, что вы ее сами и пригнали. Потому я и сказал: "Ощущаешь себя



Богом". Неужели вы решили, что это о грозе? При чем она тут, что в ней такого? Скорей уж, глядя на нее, поймешь, что ты - не Бог. Я знал, что Сондерс вот-вот возомнит себя всемогущим. Он уже наполовину поверил, что меняет погоду. Капли могли довершить дело. Он ощущал себя Вседержителем, глядящим на летучие звезды, и верил, что они подвластны ему.

Вспомните, что больная душа как бы раздвоена. Она толкает себя к безумию и не совсем верит в него. Ей хочется себя обмануть, но точной, полной проверки она избегает и не решится пожелать того, что и впрямь невозможно, - скажем, не велит дереву пуститься в пляс. Она боится, что оно не запляшет, и боится, что оно запляшет. Я знал, я точно понял в ту минуту, что Сондерса надо остановить резко, сразу. Я знал: он должен приказать дереву и увидеть, что оно стоит на месте.

Тогда я и крикнул ему, чтобы он позвал кресла и дерево. Он не услышал. Он выбежал в сад, забыл о креслах и помчался диким козлом куда-то в сторону. Тут я понял, что он уже порвал с реальностью, выскочил из мира и будет носиться по лугам под грохот грома, с грозой в сердце. Когда же он вернется, он уже не будет прежним. Ничто не угасит его дикой радости, не остановит дикой пляски. И я решил остановить его, осадить, ударить об реальность. Я увидел веревку, метнул ее и заарканил беднягу, как дикого коня. Когда он попятился, мне показалось, что я вижу стреноженного кентавра; ведь кентавр, как все в язычестве, - и естествен, и неестествен. Он - часть обожествленной природы, но он же - и чудище. Я действовал, твердо веря, что прав, а сейчас и Сондерс в это верит. Никто не знал, как я, куда зашел он по своей дороге. Оставалось одно: он должен был сразу, рывком, узнать, что ему неподвластны стихии, что он не волен сдвигать деревья и отторгать вилы, что даже веревка сильнее его, сколько он с ней ни возись.

Средство страшное, что и говорить, но ему есть оправдание:

Сондерс спасен. Я глубоко уверен, что ничто другое не вылечило бы его. Если бы его утешали и уговаривали, он бы еще дальше ушел в себя и больше о себе возомнил. Что же до смеха - нельзя высмеивать тех, кто потерял чувство юмора. Сондерс только начинал неверно думать о себе, но я еще мог показать ему, в чем неправда.

- Вы считаете, - хмурясь, спросил Баттерворт, - что у него начиналась религиозная мания?

- Припомните, - сказал Гейл, - что он изучал богословие. Наверное, он часто думал о боговдохновенности и даре пророчества, и размышления эти наконец как бы вывернулись наизнанку. Лучшее всегда рядом с худшим. На

свете есть вера, которая гораздо хуже атеизма. Зовут ее сатанизмом, а заключается она в том, что человек считает Богом самого себя. С философской же, не богословской, точки зрения вера эта ближе, чем вам кажется, к самой сути мышления. Потому-то ее так трудно опознать и остановить. Потому-то я и сказал, что понимаю бедного Сондерса. В конце концов, кто из нас не ошибался!

- Ну, Гейл! - возроптал Гарт. - Не хватит ли парадоксов? Какая-то личинка священника возомнила себя всемогущей, а вы говорите, что всякий может так ошибиться.

- Вы лежали когда-нибудь в поле, - спросил поэт, глядели в небо и били пятками в воздухе?

- Вроде бы нет... - отвечал врач. - Это ведь не принято. А если бы лежал?

- Вы удивились бы, почему вам подвластно одно и неподвластно другое. Когда вы задерете ноги, они далеко, в небесах, но ими вы двигать можете, а деревьями - нет. Не так уж странно вообразить, что весь материальный мир - твое тело. В сущности, и он, и оно - вне твоего сознания. Когда же мы вообразим, что он внутри сознания, мы окажемся в аду.

- Я не силен в таких вопросах, - сказал Баттерворт. Честно говоря, я их не понимаю. Когда человек сходит с ума, мне ясно, что он - вне сознания. А в метафизике я не разбираюсь. Боюсь, я - материалист.

- Бойтесь! - воскликнул Гейл. - Бойтесь, что вы материалист! Значит, вы не понимаете, чего надо бояться. Материалисты - в порядке, они достаточно близки к небу, чтобы принимать землю и не думать, что они ее создали. Страшны не сомнения материалиста. Страшны, ужасны, греховны сомнения идеалиста.

- Я всегда считал вас идеалистом, - сказал Гарт.

- Слово "идеалист", - отвечал Гейл, - я употребил в философском смысле. Я имею в виду того, кто сомневается во всем, кроме своего сознания. Было это и со мной, со мной ведь было почти все, что есть греховного и глупого на свете. Я только тем и полезен, что побывал в шкуре любого идиота. Поверьте мне, самый страшный и самый несчастный идиот тот, кто считает себя Творцом и Вседержителем. Человек сотворен, в этом вся его радость. Спаситель велел нам стать детьми, и радость наша в том, что мы получаем дары, подарки, сюрпризы. Подарок предполагает, что есть еще что-то и кто-то, кроме нас, и только тогда возможна благодарность. Подарок кладут в почтовый ящик, бросают в окно или через стену. Без этих весомых и четких граней для человека нет радости.

Я тоже считал, что мир - в моем сознании. Я тоже дарил себе звезды, солнце и луну, и без меня ничто не начало быть, что начало быть. Всякий, кто побывал в таком сердце мира, знает, что там - ад. Выйти из него можно только одним способом. Я знаю, сколько елейной лжи написано в оправдание зла. Я знаю доводы в пользу страданий, и не дай нам Господь умножить эту кощунственную болтовню! Но один довод подтвержден практикой, проверен на опыте: от кошмара всемогущества средство одно - боль. Мы не потерпели бы ее, если бы все было нам подвластно. Человек должен оказаться там, откуда бы он вырвался, если бы мог; только тогда он поймет, что не все на свете исходит из него. Это и значила безумная притча, разыгравшаяся здесь, словно старинное действо. Порой мне кажется, что все наши действия действия, а истину можно выразить только в притче. Был человек, он вознесся над всем, и ангелы служили ему в одеяниях туч и молний, в облачении стихий. Но сам он был превыше их, и лик его заполнял небо. А я, прости мне. Господи, кощунство, пригвоздил его к дереву.

Гейл поднялся. Лицо его было бледно в солнечном свете. Он говорил притчами, а мысли его витали далеко, в другом саду, и слышал он раскаты другого грома. За обнаженной аркой старого аббатства белело предгрозовое небо, за темной рекой, в камышах, ютился жалкий кабачок, и это неяркое видение было для него прекрасным и пестрым, словно потерянный рай.

- Другого пути нет, - сказал он. - Тому, кто верит во всевластие мысли, надо разбить сердце. Благодарение Богу за твердые камни и жестокие факты! Благодарение Богу за тернии, преграды, долгие годы и пустые дни! Теперь я знаю, что не я - сильнейший. Теперь я знаю, что не все могу вызвать мыслью.

- Что с вами такое? - спросил его друг.

- Теперь я это знаю, - говорил Гейл. - Если бы воля и мысль были всемогущи, нас было бы здесь не трое, а четверо.

Наступило молчание, и было слышно, как в синем воздухе жужжит муха. А когда поэт заговорил снова, врачи ощутили, что в его сознании приоткрылась дверь и звонко захлопнулась.

- Все мы привязаны к дереву, пригвождены вилами. Пока это так, мы знаем, что не упадут звезды и не растает земля. Неужели вы не поняли, какую хвалу вознес Сондерс, когда, простояв у дерева ночь, узнал благую весть, гласившую, что он - человек?

Доктор Баттерворт смотрел на него со сдержанным любопытством. Глаза у Гейла сияли, словно светильники, и говорил он так, как говорят люди, читающие стихи.

- Я знаю как врач, что вы здоровы, - сказал он наконец. - Иначе бы я в этом усомнился.

Габриел Гейл остро взглянул на него и сказал другим тоном:

- Не надо! Вот она, единственная моя опасность.

- Какая? - спросил Баттерворт. - Вы боитесь, что вас признают сумасшедшим?

- Да признавайте на здоровье! - воскликнул Гейл. Неужели вы думаете, что я бы особенно расстроился? Неужели вы думаете, что я не радовался бы в больнице пыли в луче или тени на стене? Неужели вы думаете, что я не благодарил бы Бога за красный нос санитары? Наверное, в сумасшедшем доме очень легко быть нормальным. Мне было бы гораздо лучше в тихом затворе больницы, чем в высокоумных клубах, кишущих неумными людьми. Не так уж важно, где размышлять остаток дней, лишь бы мысли были здравы. А то, о чем сейчас сказали вы, - истинная моя опасность. Именно в этом смысле прав Гарт - мне вредно быть с сумасшедшими. Когда мне говорят, что меня не понимают, что не видят простейшей истины: "Человеку опасно считать себя Богом"; когда мне говорят, что это - метафизика и собственные мои выдумки, тогда я в опасности. Я могу подумать о том, что хуже веры в свое всемогущие.

- Я все-таки не понял, - сказал Баттерворт.

- Я могу подумать, - сказал Гейл, - что я один нормален.

Через много лет Гарт узнал продолжение этой истории, странный эпилог нелепого действия о вилах и яблоне. В отличие от Гейла, Гарт прежде всего руководствовался разумом и мог считаться рационалистом. Он часто спорил в ученых обществах и клубах с разными скептиками, которые нравились ему, хотя утомляли его своим упорством, а иногда и глупостью.

В одной деревне пустовало место сельского безбожника: сапожник, по прискорбной своей извращенности, верил в Бога. Правда, обязанности его исполнял преуспевающий шляпочник, прославившийся игрой в крикет. На крикетном поле он часто сражался с другим искусным игроком, местным священником. На поле богословских споров они сражались реже - священник был из тех, кого очень любят, главным образом за спортивные успехи, и хвалят, говоря, что они совсем не похожи на священников. Он был высокий, веселый, крепкий, у него было много сыновей- подростков, и сам он больше напоминал подростка, чем взрослого. И все же иногда они со шляпочником спорили. Жалеть поборника веры не надо - уколы поборника науки не трогали его. Веселость, бодрость были как бы завернуты в кокон или защищены толстой, как у слона, кожей. Но один странный разговор запал шляпочнику в душу, и он рассказал о нем Гарту

тем растерянным тоном, каким рассказывает материалист о встрече с привидением. Священник играл с ним однажды в крикет и все время над ним подшучивал. Быть может, шутки эти проняли наконец достойного вольнодумца, а может быть, сам священник вдруг заговорил серьезней, что тоже не доставило радости его противнику. Как бы то ни было, священник вдруг высказал свой символ веры.

- Бог хочет, - сказал он, - чтобы мы играли честно. Да, это ему и нужно от нас: чтоб мы честно играли.

- Откуда вы знаете? - с необычным раздражением спросил шляпочник.  
- Откуда вам знать, чего хочет Бог? Вы-то Богом не бывали!

Наступило молчание, и люди видели, что безбожник удивленно глядит на румяное лицо пастыря.

- Нет, бывал, - странно и тихо ответил священник. - Я был Богом часов четырнадцать. А потом бросил. Очень уж трудно.

Достопочтенный Герберт Сондерс ушел с площадки к поджидавшим его деревенским детям и заговорил с ними весело и сердечно, как всегда. А мистер Понд, безбожник и шляпочник, долго не мог прийти в себя, словно увидел чудо. Позже он признался Гарту, что из широкого румяного лица как из маски выглянули на миг чужие глаза, пустые и страшные, и теперь, когда он их вспоминает, ему мерещится глухая аллея, дом с пустыми окнами и бледное лицо безумца в одном из этих окон.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)